

ДИСКУРС

БЕСЕДЫ О БОДРИЙЯРЕ

«Какой смысл философу верить в реальность?»

Беседа с Джерри Култером

Расскажите, пожалуйста, как родился «International Journal of Baudrillard Studies», какие люди участвовали в его создании, и как Вам удастся с самого начала выдерживать столь высокий уровень качества?

В 2002–2003 гг. я работал в Страсбурге. За три месяца, занимаясь исследованиями по французской теории, я прочитал все сочинения Бодрийяра (большинство из них два или три раза). В это время меня поражало то, сколь рожнятся прочтения Бодрийяра в книгах или статьях о нём. У меня возникли две идеи: 1) когда я прочитал все труды Бодрийяра (в хронологическом порядке его французских публикаций), меня поразило сходство его образа мысли с моим. Хотя Бодрийяр — более поэтический и элегантный писатель, никто из мыслителей, которых я читал (а читал я многих), не были так близки мне. 2) Вчитываясь в него, я был поражён тем, как плохо его понимают, — его часто изображают как «гуру» или «первосвященника постмодерна» или несут ещё какой-нибудь вздор. В целом моё поколение не воспринимает его всерьёз, будь то во Франции или за её пределами.

Заражённая прагматизмом Америка сопротивляется Бодрийяру; это своего рода интеллектуальная коррупция, называемая американским патриотизмом. В Англии и её виртуальных колониях (Канаде, Австралии и Новой Зеландии) есть замечательные знатоки Бодрийяра (Тейлор, Гейн, Геноско, Грейс, Батлер, Чолоденко, Смит и другие), но очень многие не читали Бодрийяра сколько-нибудь внимательно и не воспринимают его всерьёз. В английской традиции существует барьер для серьёзного восприятия Бодрийяра — «аналитическая» философия. В этой традиции считается необходимым либо защитить студентов от влияния Бодрийяра, либо объявить его пугалом. В «континентальной» традиции (особенно во Франции) левые или то, что осталось от левых, не воспринимают Бодрийяра всерьёз, потому что он бросает им вызов точно так же, как и правым (приятное исключение — «Libération» и ещё несколько мыслителей). Во всех этих регионах ощущается невероятное давление гуманизма, что отражается в академических работах. Бодрийяр — своего рода лакмусовая бумажка, реагирующая на банальные и незрелые академические культуры — на тех, кто хочет лёгких путей, — он ставит вопросы о негуманном, которого в нашей истории куда больше, чем гуманного.

Однажды декабрьской ночью в Страсбурге, читая журнал «Durkheim Studies», я задумал такой же журнал о Бодрийяре. Я подумал, что Бодрийяр очень популярен среди аспирантов и мыслителей нового поколения (и, как выяснилось, я был совершенно прав), и решил: «почему бы не сделать такое издание, в котором люди, пишущие о Бодрийяре, могут прочитать труды друг друга?». Я сделал несколько заметок и уснул с этой мыслью. На следующий день я составил список людей, которые написали о Бодрийяре по книге, и пригласил их принять участие в редакционной коллегии журнала под названием «International Journal of Baudrillard Studies». Только один отказался.

В начале января 2003 г. подобралась редакционная коллегия — приглашений к публикациям не было, и первого выпуска пришлось ждать двенадцать месяцев. Я договорился о встрече с Бодрийяром, мы обсудили идею журнала, ему понравились и я, и идея, и он сказал, что «всецело поддерживает этот проект».

Первый выпуск, по моей мысли, должен был соответствовать двум критериям: 1) быть очень высокого качества и 2) показать, что «International Journal of Baudrillard Studies» — не только серьезное издание, но нечто большее — что он приветствует творческие начинания, обычно не укладывающиеся в рамки строгих академических проектов. Что касается качественного аспекта, мне очень повезло с двумя канадцами (Гэри Геноско и Тилоттама Раджан — оба участники престижной программы «Canada Research Chairs») и замечательной уроженкой Новой Зеландии (Виктория Грейс из университета Кантерберри). Раджан и Грейс написали высокоинтеллектуальные философские статьи. Удобочитаемость очень важна для «International Journal of Baudrillard Studies», поскольку мы ориентированы на аудиторию людей из академических и неакадемических кругов. Бодрийяр вызывает большой интерес у поэтов, писателей, журналистов-интеллектуалов и т.п.; я всегда хотел, чтобы в «International Journal of Baudrillard Studies» для них нашлось место. Кроме того, я хотел опубликовать некоторые работы Бодрийяра, которые прежде не выходили на английском; Геноско помог с переводом замечательного интервью, которое Бодрийяр дал газете «Der Spiegel» на немецком. Я написал для первого выпуска передовую статью, в которой был игровой фрагмент — виртуальный диалог, состоящий из высказываний Бен Ладена, пресс-релизов Джорджа Буша и суждений Бодрийяра. Этот виртуальный диалог за прошедшие годы собрал огромное количество откликов, и я рад, что он так удачно попал в цель, став примером того нетрадиционного письма, которое мы приветствуем. В первом выпуске у нас были три отличные рецензии на новые книги (две из них принадлежали одному из лучших авторов, пишущих о Бодрийяре, — Рексу Батлеру из Австралии). Каждые три месяца я проверяю статистику обращений к каждой статье и обзору на веб-сайте, и с радостью обнаруживаю, что первый выпуск по-прежнему популярнее других. И первый выпуск, и все последующие (сейчас мы готовим 13-й), проповедуют идею, которую я предложил первому составу редакционной коллегии и которая отражена в передовице первого выпуска: «International Journal of Baudrillard Studies» существует ради серьезного восприятия мысли Бодрийяра — это касается всего.

За первый год было 11 000 обращений к отдельным статьям и обзорам, за второй год — 40 000, а за последние три года — более 100 000 в год. С каждым выпуском их становится всё больше. Если бы журнал читали двести человек, я всё равно занимался бы им, потому что количество не имеет значения — мы обращаемся к тем, кто интересуется творчеством Бодрийяра.

После того, как вышел первый номер, я старался выдерживать качественный уровень публикаций. Всё больше и больше исследователей творчества Бодрийяра при-

сылало свои статьи и обзоры, и в третьем выпуске у нас были передовица, некролог Деррида, восемь статей и девять рецензий на новые книги. За шесть месяцев к статьям и обзорам обратилось больше людей, чем за весь первый год, и я понял, что дела у нас идут хорошо. «Качество» — довольно любопытная вещь, если речь идёт о таких изданиях, как «International Journal of Baudrillard Studies». Под «качеством» здесь понимается совсем не то, что подразумевают в традиционных изданиях — корректность и охрана авторского права. Здесь приветствуются статьи, соглашающиеся с Бодрийяром или бросающие вызов ему или кому-то из редакторов журнала. Рассматривая статью, мы заботимся главным образом о том, насколько умно в ней излагаются идеи и насколько она интересна. Мы публикуем примерно половину из того, что нам присылают; одни статьи приходится существенно переделывать, другие нет. Особенность «International Journal of Baudrillard Studies» в том, что его редакторы не отворачиваются от молодых учёных; они зачастую тратят много времени на то, чтобы показать им, как нужно работать со статьёй, чтобы довести её до уровня пригодности к публикации, как улучшить стиль и т.п. Все, кто причастен к «International Journal of Baudrillard Studies», работают из любви к Жану, а теперь в память о нём. Всякий, на кого он оказал влияние, независимо от того, пишут они о нём или выполняют редакторскую работу, делают это в значительной мере из чувства благодарности к нему и к его работам. Все, кто был близко знаком с Жаном, знали его как прекрасного доброго человека, так что ничего удивительного в этом нет. Качество «International Journal of Baudrillard Studies» зависит от людей, которые размышляют и пишут о нём, чем бы они ни занимались — от традиционных исследований до литературных эссе, поэзии, научной фантастики и т.п. Я очень доволен тем, что у нас публиковались работы таких мыслителей, как Джорджио Агамбен, Питер Сингер, Славой Жижек, Юлия Кристева, и много людей, написавших книги о Бодрийяре. Журнал собрал много великолепных умов, поскольку сам Бодрийяр обращался к великолепным умам. Я счастлив, что у нас хотят публиковаться люди, которым был бы рад любой журнал. Многие говорили мне, что поступили так из-за качества «International Journal of Baudrillard Studies» и благодаря тому, что мы открыты миру.

Я хотел бы отметить ещё один момент. Изначально я хотел, чтобы «International Journal of Baudrillard Studies» стал изданием, в котором люди могли бы опубликовать пригодную для печати работу о Бодрийяре, которую отвергли в другом месте. Мне пришлось стать свидетелем того, как одну академическую работу, касающуюся Бодрийяра и одобренную тремя рецензентами (одним из которых был я), не опубликовали из-за того, что в последний момент вмешался главный редактор. Почему? Потому что публикация статьи о Бодрийяре повредила бы репутации издания! Это было семь лет назад, и сегодня, когда «International Journal of Baudrillard Studies» приветствует подобные работы молодых учёных, я не испытываю никакой радости оттого, что упомянутое издание прекратило своё существование. Почему? Да потому, что теперь оно не сможет заставить следующее поколение читателей обратиться к более интересным изданиям, одним из которых является «International Journal of Baudrillard Studies».

Как относился к International Journal of Baudrillard Studies сам Бодрийяр?

Когда мы собрали редакционную команду и поразмыслили о том, что хотели бы сделать в первом выпуске, я встретился с Жаном в Париже. Мы поболтали несколько часов в «Café Select» неподалёку от его дома. Я рассказал ему о своих корнях (оба мы

были крестьянами, оказавшимися в Париже), о моей деятельности в академической среде, о том, как мне удаётся там выживать, мы обсудили восприятие его работ. Он по-доброму отозвался о некоторых из самых резких его критиков вроде Дугласа Келлнера и заметил, что представление Келлнера от Бодрийяре далеко от его оригинальной позиции. Бодрийяр находил состояние парижской академической культуры неутешительным и чувствовал признательность к людям, которые читали его труды серьёзно — особенно благодарен он был Келлнеру.

Кроме того, мы говорили о людях, мышление которых было сходно с его взглядами, и тогда я рассказал ему о своей идее с «International Journal of Baudrillard Studies». Я пробежался по списку имён из первоначальной редакционной команды, и он был заинтригован. Я сказал: «Идея в том, что этот журнал будет обращаться к вашей мысли в серьёзной манере, будет публиковать как традиционные исследования, так и нетрадиционные, которые порой будут соглашаться с Вами и предлагать новые применения Вашей мысли, а порой будут спорить с Вами и бросать Вам вызов». Он улыбнулся и сказал, что «всецело одобряет этот проект». Я спросил его, не хочет ли он войти в редакционную коллегию, и он без колебаний согласился. Для него это было слишком забавно, чтобы сопротивляться!

Жан не пользовался Интернетом — его послания были рукописными, а отправлял их мне его партнёр, помогавший ему с коммуникациями. «International Journal of Baudrillard Studies» наслаждается своим ироничным положением виртуального журнала, посвящённого его творчеству. Всегда забавно находить веб-сайты, на которых авторы, не читавшие «International Journal of Baudrillard Studies», критикуют нас за то, что мы есть. Как я уже говорил, Жан и всё, что связано с его письмом, — это лакмусовая бумажка, реагирующая на банальность и незрелость.

У Жана был помощник, который распечатывал каждый номер, чтобы он мог прочитать его. Он был удивлён появлением своей старой немезиды Кристевой и заинтригован тем, как молодёжь реагирует на его работы — включая фотографии. Каждый год я слышал от него добрые слова за публикации — или персонально, или по электронной почте; например, после выхода номера 3–1 (июль 2006 г.): «D'abord laisse moi te feliciter pour le dernier numero des IJBS... tu as fait un superbe travail!»¹.

Жан играл роль заинтересованного наблюдателя — «International Journal of Baudrillard Studies» был частью его двойной виртуальной жизни в Сети. Это был лучший ресурс о нём в Сети, и он был доволен тем, что так много людей серьёзно соразмышляют с ним. Если бы не постоянно ухудшающееся в последние три года самочувствие, он играл бы более активную роль. Он прочитал три статьи (одна из которых была моя) как редактор, не зная имён авторов.

Бодрийяр — философ, постоянно провоцировавший всех и вся, наступавший на любимые мозоли тем, кто считал его своим. Какую роль в его творчестве играла провокация?

Провокация лежит в самом основании бодрийяровского видения, поскольку мыслить для него значит бросать вызов. Это относится и к его способу мышления, и к его сочинениям. Бодрийяр считал, что в эпоху, заражённую интегралистским мышле-

¹ «Прежде всего позволь поблагодарить тебя за последний номер IJBS... ты сделал отличную работу!»

нием (особенно глобализацией) и фундаментализмом, то, во что мы не верим, оказывается важнее, чем то, во что верим. Таков был его поэтический способ доводить понятия до той точки, в которой они ломаются и разрушаются. Он мог позволить себе такое, потому что не был инвестирован ни в какую систему — он стремился опрокинуть их все. «Теория — это вызов реальному», — сказал он в интервью с С. Лотринже, получившем название «Забывать Бодрийяра». Вызов, провокация, реверсивность — всё это подрывная деятельность. Вместо того, чтобы искать способы «улучшить систему», Бодрийяр стремился понять фатальность системы и найти поэтическое, а не эмпирическое решение. Самая цель мышления для него заключалась в том, чтобы бросить вызов миру, предстающему перед нами загадочным и непостижимым, сделав его ещё более загадочным, ещё более непостижимым. Те, кто стремится «улучшить мир» (социологи и прочие), просто работают на систему.

Для него было комплиментом, когда с ним спорили, — так он говорил про Дугласа Келлнера. Он не соглашался со своими критиками, но он знал, как должен знать всякий мыслитель, что в спорах с нашими критиками мы совершенствуем свои аргументы. Когда я в первый раз беседовал с Бодрийяром, я был поражён его внимательностью к серьёзной критике Келлнера, которой он не принимал. Улыбнувшись, он заметил, что Келлнер продвинулся в своём понимании мысли Бодрийяра по сравнению со своей первой книгой, вышедшей в конце 1980-х гг. Бодрийяр любил провоцировать, хотя порой его критики выказывали невежество и злобность. Об этих людях он говорил, что к ним, по-видимому, перешла его негативность. Он понимал, что, если вы провоцируете людей, к вам вернутся лишь вялая критика или злость. Вспомним хотя бы, как после его смерти в Америке появилось множество некрологов, авторы которых не могли принять его отношение к их стране или к событиям 11 сентября. Эти критики представляют тот тип мышления, которого Бодрийяр всегда избегал.

Давайте подробнее поговорим о ярлыках, навешиваемых на Бодрийяра. Вы уже упоминали о таких, как «гуру» и «первосвященник постмодерна». Как можно очистить Бодрийяра от них? И нужно ли это делать?

К этой коллекции ярлыков я бы добавил: «гуру французского постмодернизма» и «одинокий рейнджер левых пост-марксистов». Но давайте разберёмся по порядку.

«Гуру» — это индуистский учитель, а часто и лидер религиозной секты. В повседневном языке так называют учителя, ментора, учёного мужа. Я полагаю, что Бодрийяра действительно можно назвать «гуру» в смысле «учёный муж», просто этим термином злоупотребляют. Если всё, что вы можете сказать о человеке — это то, что он «гуру», это значит, что вы не читали его трудов и не можете сказать ничего осмысленного. «Гуру» — это журналистский термин. «Одинокий рейнджер левых пост-марксистов» — по-видимому, выражение с суперобложек издательства «Verso», и в нём больше смысла. Правда, у одинокого рейнджера был друг-индеец Тонто, а я не знаю, кто мог бы оказаться этим Тонто для Бодрийяра. Однако после 1968-го он одним из первых порвал с левыми и стал развивать сокрушительную критику марксизма. Я уже упоминал о людях, которые, желая изменить мир, в действительности работают на систему. Именно в этом отношении Бодрийяр критикует Маркса. Для Бодрийяра Маркс недостаточно радикален, потому что, в конечном счете, он искал лишь новую форму продуктивизма — утопическую социалистическую модель производства. Маркс опирается на концепты, связан-

ные с метафизикой рыночной экономики. Ярлык «первосвященник постмодерна», как и «гуру», крайне несерьёзен и может служить лишь журналистам и книгопродавцам. Эти выражения годятся лишь для рекламы.

А каковы отношения Бодрийяра с постмодернизмом/постмодерностью?

Отличный вопрос! Самое раннее использование термина «постмодерн», о котором мне известно, можно найти в книге автора по имени Хундуг «Архитектура и человеческий дух» (1949), и до сего дня этот термин имеет точное значение лишь в архитектуре. Фрэнк Джери и многие другие архитекторы создают сегодня нечто поистине постмодерное. Удивительно, что Джери пользуется компьютером, создавая нечто совсем не виртуальное. В искусстве этот термин ограниченно используется применительно к живописи 1980-х гг. Если же применять этот термин к Бодрийяру, то он родился в эпоху модерна (1929), а жил в период, последовавший за модерном. Бодрийяр жил в эпоху всеобщего смятения, конца прогресса, и с самого детства (когда ребёнком был вынужден бежать от нацистов) с подозрением относился к любым представлениям об универсальной истине или смысле. Мне очень нравится, как Роберт Хьюз характеризует исторические периоды. Он говорит, что периоды эти не разбиваются подобно стеклу, но вьются, как верёвка из множества волокон, которая никогда не рвётся. В качестве примера Хьюз выбирает Ренессанс и говорит, что невозможно установить, в каком году тот закончился; некоторые его аспекты по-прежнему с нами — те волокна, которые никогда не рвутся. То же самое он говорит о модерне, за исключением того, что сегодня мы слишком закрыты для этого масштабного идеологического проекта. Постмодерность — всего лишь понятие, при помощи которого некоторые теоретики пытались показать, что модерность в целом завершилась, но, конечно же, пройдёт ещё много времени, прежде чем мы сможем сказать о её конце.

Бодрийяр впервые использовал термин «постмодерность» в «Симуляции и симулякрах» (1981), говоря о способности постмодернизма подрывать устоявшиеся смыслы. Мэл и Титмарш посвятили значительную часть своей беседы с Бодрийяром вопросу о постмодерне. Бодрийяр сказал, что не уверен в значении термина «постмодерн» и не имеет на этот счёт никакого суждения. Он добавил, что его ирония не относится к тому типу, который сам он признаёт постмодернистским. Таким образом, Бодрийяр охотно признаёт способность понятия «постмодерность» отражать современные перемены, но в то же время дистанцируется от этого термина. Признавая, что настоящее пусто, он задаётся вопросом о том, может ли постмодернизм — не просто термин, который пустые люди используют для описания нашего пустого времени, — стать своего рода теоретической игрой с фрагментами. В конце интервью он констатирует, что идея прогресса мертва, и задаётся вопросом о том, не есть ли постмодерность отчаянная попытка продолжать жить с осколками ушедшего понимания мира. Бодрийяр весьма резонно вопрошал: как можно верить в модерность и прогресс после Третьего Рейха, Аушвица и Хиросимы? И тем не менее, консервативные интеллектуалы продолжают цепляться за традиционные эмпирические подходы.

Бодрийяр нашёл (не)счастливую идею, за которую ухватилось много мыслителей, норовивших превзойти Бодрийяра (Артур Крокер, Джордж Ритцер), а также его противники (Алекс Каллиникос и Дуглас Келлнер), вместо того, чтобы попробовать себя как теоретиков. Именно эта компания (и некоторые другие) наклеила на него ярлык постмодерного мыслителя. Крокер представляет пример интеллектуального и

весьма тонкого читателя Бодрийяра, но его письмо всегда чрезмерно политизировано. Это лучший из известных мне примеров интеллектуала, отчаянно пытающегося вернуть утраченную политическую страстность, и это губительно действует на его блестящие способности. Бодрийяр же, напротив, требует разоблачения политики и любых желаний изменить мир. Бодрийяр был вернейшим приверженцем холодной иронии. Соразмышлять Бодрийяру — значит принять загадочность и непостижимость, принять ту форму письма, которая разрушает понятия и системы вместо того, чтобы поддерживать, пытаясь создавать их заново или «улучшать». Мыслители, о которых я говорил, движимые лучшими побуждениями и придерживаясь концептуальной точности, оказали Бодрийяру медвежью услугу, сделав его номинальным главой постмодерного мышления, невзирая на то, что сам он дистанцировался от этого термина. Крокер и Ритцер одними из первых поддались притягательности Бодрийяра и заслуживают звания первых, кто отнёсся к нему со всей серьёзностью. Однако уже в 1992 г. Бодрийяр порвал с постмодерностью. В «Иллюзии конца» этот термин появляется лишь в кавычках — с соблазном покончено.

Уже в 1989 г., в интервью с Джоном Джонсоном, Бодрийяр сказал: «...Сам постмодерн постмодернен: это всего лишь модель поверхностной симуляции, которая сама по себе ничего не значит. Сегодня он имеет много приверженцев». Разве это не высшая похвала? В последующие пять лет у Бодрийяра было время, чтобы переосмыслить значение постмодерна и заметить, что его собственные концепции фатальных стратегий и соблазна расходятся с «траекториями постмодерна».

До 1990 г. понятие «постмодернизм» ещё присутствует в его арсенале, а в «Cool Memories 2» (1990) он расправляется с постмодерном: «постмодерн — первый поистине универсальный канал коммуникации, вроде джинсов или кока-колы. Он в равной степени значим в Ванкувере или в Занзибаре, в Чикаго или в Будапеште. Это всемирный вербальный блуд».

Импlications этого понятия становятся довольно забавными: после «Забыть Фуко» от него отвернулись 98 % французских интеллектуалов (его отказ от марксизма не благоприятствовал перемене в этой ситуации), потом он отказался от традиционного эмпиризма в мышлении, а заодно от всех традиционных дисциплин, теперь же он отвернулся от постмодерна. Если вы практикуете радикальное и независимое мышление, в 90-х нужно было поступать именно так.

Весьма примечательно, что как раз в это время на Бодрийяра наклеили ярлыки «гуру» и «первосвященник постмодерна». После 1992 г. принято было заявлять на весь мир: «Я не читал Бодрийяра!». Ирония судьбы в том, что люди, продававшие английские переводы его книг, пользовались именно этими терминами. Жан, как и многие другие, сам того не ожидая превратился в интеллектуального козла отпущения. Всякому нужно время от времени, чтобы над ним посмеялись, а нашему брату критику приходится сталкиваться с этим довольно часто. Тем, кто пользуется такими выражениями, я хотел бы напомнить старый принцип: «если вы не понимаете шуток, не шутите».

Постмодернисты совершенно не переносят сделанного Бодрийяром по поводу Войны в Заливе заявления о том, что постмодерности не было. Тем, кто называет его постмодернистом, он ответил в интервью с Гейном (1993): «...Постмодернизм, как мне кажется, в изрядной степени отдаёт унынием, а то и регрессией. Это возможность мыслить все эти формы через своеобразное смешение всего со всем. Я не имею с этим ни-

чего общего. Это ваше дело. Оттого, что я говорю об этом, ничего не изменится». То обстоятельство, что сегодня мы всё ещё говорим об этом, доказывает верность последнего суждения».

Впрочем, Бодрийяр был весьма признателен постмодерной литературе за те вызовы, которые она ему бросала. Он очень любил Лиотара — в его работах критики Лиотара вы не найдёте. Я спросил его об этом в мае 2006 г., и он ответил, что «Лиотар играл очень важную роль в собирании нового тела идей, помогая ему в своей провокативной манере — это был один из немногих поистине очаровательных писателей своей эпохи».

В российской академической среде термин «постмодерн» по-прежнему носит скандальный оттенок. Если же Бодрийяра освободить от ассоциации с «постмодерном» (термин, что и говорить, нелепый), он рискует превратиться в академическую норму. Так стоит ли это делать?

Самые ярые приверженцы традиционного академизма — существа в высшей степени дисциплинированные. Они боятся отступить от эмпиризма — в конце концов, инструментальный принцип приручил их в юности. Порвав с постмодернизмом, Бодрийяр не искал путей отступления в традиционный академизм. Напротив, он бросал ему вызов и был этим очень доволен.

Что до академических норм — он не переносил их. Его творчество никогда не было академическим. Он не возражал против того, чтобы его называли теоретиком, до тех пор пока теория понимается как вызов и отличается от академической практики философствования и от всего того, что пишут об истории идей. Он не признавал за интеллектуалами права говорить от чьего-то имени (кроме своего собственного).

Быть академическим мыслителем — значит иметь редкую возможность думать вне того, что уже ушло. Мы занимаем новые позиции в стародавних спорах и пускаем в ход новые концепты, творчески переосмысляя их. Но наша лояльность к академическим дисциплинам, необходимость принадлежать к традиционным кругам ведёт к тому, что мы впустую растрачиваем потенциал. Обращение к поэтике, искусству, фотографии, кино и т.п. открывает для социальной мысли новые перспективы, лежащие далеко от того, что может нам сообщить статистика. Кроме того, традиционные академические нормы привязаны к вере в то, что мы можем постичь реальность. Это совершенный вздор, поскольку, как показал нам Бодрийяр, всё, что мы когда-либо сможем узнать, — это явления, за которыми скрывается реальность. Сегодня мы можем научиться большему у британского художника Фрэнсиса Бэкона или у Джозефа Бейса и других живописцев, нежели у традиционно мыслящих академистов.

Это не значит, что мы должны верить в то, что живём в постмодерности. Быть может, нам стоит задать весьма вызывающий вопрос: а была ли модерность? Не являемся ли мы всего лишь потомством наших диких предков, украшенным технологическими гаджетами? Скоро все они соединятся в многофункциональном компьютере, который лет через пятнадцать станет штукой более привычной, чем сегодняшней мобильный телефон. Все постоянно будут пребывать в режиме on-line, став «людьми сети», как назвал это Бодрийяр. Мы живём в транс-время, как называет Бодрийяр время между человеком и пост-человеком. Ответ Бодрийяра на традиционные и постмодерные нормы носил радикальный характер — появление этого пост-человеческого ландшафта глубоко занимало его. Он чувствовал, что перед нами два сценария возможного буду-

шего. Первый, на который он рассчитывал, предполагает крах системы. Конечно, это сопряжено со всяческими ужасами, но это, полагал он, лучше, чем мир, в котором существующая система преуспевает, а мы проживаем смоделированные и запрограммированные компьютером жизни (второй вариант). Много ли могут сказать по этому поводу академические нормы? Я так не думаю; скорее, они выстраивают сценарий кошмарного будущего. В академической системе много замечательных мыслителей, но больше мелких трусов, одни из которых — традиционалисты, а другие — постмодернисты. Во всём мире за последние тридцать лет академическая система старалась навязать нам корпоративные модели инноваций, связанные с интересами бизнеса. Кто из академических мыслителей выступил с протестом? Мы взлелеяли поколение «академиков», работающих на государство, а косвенно — на корпоративный порядок; эту систему мы называем «исследовательскими грантами». Бодрийяр говорил об этом: «молодые интеллектуалы сегодня ответственны за бессмысленность ситуации, в которой они оказались».

Бодрийяр когда-то предложил пари в паскалевском духе: скорее ничто, чем нечто. Похоже, что пари он выиграл. Однако возникает ницшевский вопрос: стали ли мы от этого счастливее?

Это главная идея Бодрийяра; все остальные обращаются вокруг неё. Именно это привлекает меня как человека, ищущего поэтическое решение. Лично я не понимаю, как кто-то может полагать, что знает, что такое реальность, и при этом оставаться счастливым. Должно быть, именно поэтому столь многие защитники реальности несчастны.

«Почему нечто, а не ничто» — вовсе не вопрошание того, кто отказывается принимать реальность на веру. Это не тот вопрос, что никогда не приходит в голову фундаменталисту. Во времена фундаментализма, в которые нам выпало жить, когда Буш и бин Ладен говорят нам: «вы или с нами, или против нас», гораздо важнее то, во что мы не верим, нежели то, во что мы верим.

Мы знаем не реальность, но лишь явления, за которыми она скрывается. Мы не знаем атомарной структуры нашего мира, нам ведомы лишь непроницаемые гладкие поверхности — мы всё ещё видим свет звезды, которая уже стала чёрной дырой. Всё человеческое знание и философия имеют дело с мёртвыми явлениями, и это невыносимо: мы живём в мире явлений и потому потратили впустую две с половиной тысячи лет философии, пытаясь почувствовать свою защищённость реальностью. Возможно, это наша величайшая и непознанная трагедия. А кто управляет Новым Мировым Порядком? Американские прагматисты! Но посмотрите, что с ними происходит, когда они сталкиваются с людьми, понимающими, что мир состоит из явлений. Современность учит нас презирать явления — и мы презираем их. Почему нам так трудно принять жизненную иллюзию мира? И достаточно ли её принятия для презрения к Бодрийяру? Вся современность выступает против иллюзии, однако то и дело скатывается к ней, впадая в симуляцию гиперреальности, более реальной, нежели реальность. Эта обратимость системы, на мой иронический взгляд, весьма поэтична. Величайшая философская проблема нашего времени — недостаток вещей, в которые мы *не* верим. Вера просачивается повсюду — она накрыла университет и очень многих превратила в мыслителей системы. Что может быть страшнее для академического мыслителя, чем мысль о том,

что система может быть разрушена? Поэтому столь многие цепляются за существующее положение вещей.

Однако вера является результатом выбора; можно рассматривать её как форму добровольного рабства. Вера в то, что эмпиризм делает наш мир лучше, постоянно опровергается очевидностью неотвратимо надвигающейся катастрофы. Не говоря уже о том, что на это указывали самые поэтические версии физики XX столетия (квантовая теория и принцип неопределённости Гейзенберга).

Если вы не веруете, у вас появляется возможность избежать этого рабства и уйти от политики. Вы можете избрать более поэтическое (не эмпирическое) объяснение мира. Гёте знал, что есть лишь одно мерило истины — он сам. Нас отделяют от него два столетия науки и социологии. Как и он, мы можем отвергнуть (универсальный) Смысл, иначе Смысл нас погубит. Все мы, конечно, знаем, что реальность может существовать, но, как и с Богом, который тоже может существовать, для нашей мысли будет лучше, если мы будем оставаться агностиками. Свои действия лучше основывать на вызове, чем на вере. Мы должны спросить себя, что для нас важнее — вера или мысль. Вы знаете ответ Бодрийера.

Я думаю, для Бодрийера мысль о том, что ничто скорее, чем нечто, была источником радостной мудрости. Ницше говорил, что истина — это всего лишь иллюзия, и мы до сих пор не понимаем, что живём в иллюзии. Он практиковал свою собственную радостную мудрость. Эта мысль для меня очень интересна. Я не думаю, что философы были дураками; я думаю, что в глубине души величайшие мыслители испытывали недостаток веры в реальность. Ницше и Бодрийер имели смелость написать об этом, но обычно этого не делают. Какой смысл философу верить в реальность? Самый дух науки даёт понимание того, что самая мудрая позиция — позиция неверующего. Бодрийер назвал этот дух «радикальным эмпиризмом», породившим много любопытнейших мыслей о реальности. Реальность — это величайший самозванец в истории философии. Но, когда мы смотрим на великих философов, разве мы не обнаруживаем, что те, кто верит в реальность, встречаются среди них так же редко, как Папа, верующий в Бога?

Бодрийер находил в этой мысли ту же радость, которую нахожу в ней я. Именно это связывает меня с ним. Пускай другие верят, мы же превосходим их тем, что не верим.

Бодрийер был самым анти-метафизическим мыслителем (пост)современности. Однако мне порой кажется, что его «обратимость» и «фатальные стратегии» обнаруживают признаки Духа. Деррида честно признался в своей любви к метафизике. Почему Бодрийер не сделал такого признания?

Обращаясь к этому сложному вопросу, следует иметь в виду две вещи. Во-первых, Бодрийер как мыслитель — абсолютный агностик, поэтому в том, что он говорит, важнее то, во что мы не верим, нежели то, во что мы верим. Во-вторых, он ищет поэтические решения, взыскуя обратимости, проходящей через всю историю человеческого общества.

В то же время, он чужд какого бы то ни было детерминизма, ведь обратимость делает детерминизм невозможным. Так, он знает, что компьютерный вирус может привести к остановке системы, используя те самые функции системы, которые требуются для функционирования компьютера. Со времён Геродота мы знаем, что великие империи в конце концов рушатся, и обратимость настигает все социальные конструкции. По Бодрийеру, обратимость сродни старению, заложенному в вещах их собственным рос-

том. Чем больше антибиотиков мы изобретаем, тем более восприимчивы мы становимся к вирусам, которые становятся всё сильнее (а следовательно, требуют всё более мощных лекарств на следующем витке борьбы). Обратимость действует в жизни и в истории. Трудно говорить о таких вещах, как обратимость, и не казаться метафизиком. Но это не метафизический концепт.

Во времена господства метафизики к мифологическим принципам вроде обратимости относились серьёзнее — как к своего рода духу, пронизывающему события (но порой отвергаемому из гордыни). Бодрийяр говорит, что модернизм избавила нас от такой мифологии, и теперь мы не в состоянии увидеть, насколько прекрасен компьютерный вирус, и, как и медиа, мы не можем усмотреть в нём юмор. Так что его концепт обратимости действительно очень близок к метафизике, когда он задаётся вопросом о том, не стоит ли за обратимостью с её способностью подрывать наш необратимый порядок какая-то фатальная стратегия. Фатальное — это не случайное; оно толкает вещи к гибели. Банальность, говорит Бодрийяр, это и есть фатальность современного мира. Судьба — это разделительная линия между случайностью и необходимостью. Обратимость — часть фатального. Всё это напоминает метафизику, не правда ли? Конец предполагается в начале.

Но покажите мне великого мыслителя, которого не занимала бы метафизика, если его подталкивает к тому его эпистемология! Бодрийяр-неверующий, оставляющий открытым вопрос о фатальном, обратимом мире, конец которого предполагается его началом, своим поэтическим подходом к разрешению загадки мира также внёс свою лепту. Когда мы размышляем о своих отношениях с техническими достижениями в свете фатальности, для нас становятся очевидны два возможных варианта будущего. Первый предполагает крушение системы. Второй, поистине кошмарный, сводится к тому, что система будет преуспевать, а нам придётся жить в мире, который описали Оруэлл или Хаксли. Это странное мышление (не метафизическое, но похожее на него в наши пост-метафизические времена) позволяет Бодрийяру утверждать, что глобализация вовсе не обязательно победит. Хотя он и не оправдывает бессмысленные убийства, он понимает, что всепроникающий терроризм наиболее полно выражает ответ на те унижения, которые несёт с собой дар глобализации. Мыслитель, исповедующий такой подход, слишком исключительный, чтобы его можно было назвать бодрийярианским, никогда не принимает сторону системы (или реальности), зная о её грядущем обращении. Это позволяет ему объяснять, что такое зло. А поскольку он знает, что преуспевание системы породит лишь кошмарный сценарий, он понимает, что теоретик может выступать против системы, приближая её крушение. Хотя это крушение и будет иметь катастрофический характер, это лучше, чем ужасы жизни в системе, основанной на компьютерных моделях и технократии.

Говоря теоретически, если вы принимаете сторону зла (выступая против уверенных, что его когда-нибудь удастся устранить), вы принимаете сторону обратимости и фатальности. В отношении теоретической системы вы становитесь своего рода теоретическим террористом, поддерживая самые вызывающие взгляды и подходы. Вы поддерживаете традиции вызова в их наилучших проявлениях. Разве не забавно, что Бодрийяр, который терпеть не мог академическую и школярскую культуру, оказывается решительным защитником духа бесконечного свободного поиска, на который предположительно должна опираться академическая традиция? Бодрийяр — не апокалиптиче-

ский мыслитель, просто он понимает то, что мы знали на протяжении тысячелетий, но забыли сегодня — необходимость прилива и отлива, взлёта и падения. Таков фатальный оптимизм Бодрийяра — единственная надежда на крах системы предполагает предварительное порабощение нас всех (независимо от того, насколько это порабощение будет добровольным). Когда всё прочее уйдёт, неважно, к каким горизонтам, теоретик, бросающий вызов, может обернуться и увидеть спину удаляющегося Бодрийяра.

Таким образом, ведя речь о метафизике, можно сказать, что Бодрийяр отталкивается от моралистской и метафизической традиции первого порядка. Эта традиция с подозрением относится к культуре и не склонна разделять природу и культуру, или добро и зло. Бодрийяр, к примеру, был очень внимателен к Арто, бросившему миру величайший вызов. Сам Бодрийяр возводил проблему современности к смерти Бога, которую он понимал как смерть трансцендентного. Он говорил, что мы разорвали свой метафизический контракт и заключили контракт с вещами, ещё более рискованный и коллективный. Вместо того, чтобы стремиться к совершенству в грядущем мире, мы стали искать совершенство в этом, выстраивая совершенный техно-научный мир («преступление» против мысли, как выразился Бодрийяр).

Метафизика — очень важный для Бодрийяра термин, часто встречающийся у него. Он называет барокко метафизикой подделки, а в «Иллюзии конца» говорит, что мы заменили свои старые метафизические утопии утопиями в некотором смысле профилактическими. Он говорит о «метафизике кода», о «метафизике потребления», а дигитальность называет «метафизическим принципом кибернетического контроля». Он заявляет, что спиральный эффект современности неизменно возвращает его к метафизике. Америка, говорит он, нашла метафизическое основание для своего бегства от Европы, что позволило ей максимально далеко уйти от ностальгических версий истории. Он пишет о метафизике событий, зла (которое сегодня безлико и безобразно) и критикует Маркса за то, что тот сохранил ключевое понятие метафизики рыночной экономики — производство.

Таким образом, модерность знаменует конец эры метафизики, и сегодня мы вступаем в эру гиперреальности. Если Бодрийяр и может показаться нам изрядным метафизиком, то лишь из-за того, что нас побуждает к тому сама современность. Всякий, кто говорит о зле как о позитивном понятии или толкует об обратимости, сегодня может показаться метафизиком.

Но есть и ещё кое-что. Бодрийяр перенял от Ницше своеобразную анти-метафизическую позицию. Мне это понятно, потому что в дни юности я прошёл через те же искания, что и Бодрийяр, относившийся к Ницше чрезвычайно серьёзно. Модерность заменила метафизику потребностью анализировать мир, чтобы управлять им (поэтому общественные науки, будь они правыми или марксистскими, никогда не бывают радикальными). В нашем пост-метафизическом мире субъекта вытеснил объект. Объективность же, говорит Бодрийяр, оказывается метафизическим и моральным аргументом в пользу истины.

Хотя он и может казаться метафизиком, Бодрийяр знает, что мы живём в такие времена, когда ни физика, ни метафизика нам не помогут; скорее, мы теперь имеем дело с патафизикой вещей и товаров, патафизикой знаков и действий. Он понимает, что это звучит метафизически, однако в своей патафизике (науке о воображаемых решениях) он задаётся вопросом о том, не является ли технология областью инверсии отношений между субъектом и объектом. Он вопрошает, не может ли технология в силу некоей

иронии оказаться чем-то иным, нежели пространство игры субъекта и объекта, когда метафизическая оппозиция субъекта и объекта окажется дестабилизирована той же технологией.

Мне кажется, Бодрийяру так никогда и не удастся избежать обвинений в метафизике, несмотря на то, что он всячески её избегал. Его агностицизм ведёт к метафизике, но когда вы принимаете во внимание его идею обратимости, вы оказываетесь далеки от старой идеи инь и янь, этих двух метафизических полюсов, противоположность которых организует весь мир.

На мой взгляд, Бодрийяр больше заимствует от современной физики — от революции неопределённости, которую представляет собой квантовая теория, — нежели от метафизики. И тем не менее, если мы говорим о таких вещах, как обратимость или неопределённость, о правилах дара (отдавать больше, чем ты получил), я согласен, что это звучит метафизически. Ещё раз скажу о том, что Бодрийяр искал поэтическое решение, обращаясь к загадочному и непостижимому миру, который он стремился сделать ещё более загадочным и непостижимым. Все прочие формы знания служат техно-науке. Бодрийяр не хотел жить в мире, где можно открыть книгу и найти Истину или верить в какого-нибудь Бога. Поэтому в большей степени его привлекала патафизика — наука о воображаемых (поэтических) решениях.

Как соотносятся идея симуляции и метафизика?

В общем можно сказать, что идея симуляции в большей степени обращена к вопросу о том, что мы представляем собой как вид, нежели к метафизике. После Фуко и Бодрийяра мы знаем, что теория предшествует миру. Это значит, что мир существует лишь постольку, поскольку мы даём ему названия и аранжируем слова для того, чтобы его описать и попытаться разгадать его тайны. Мы живём внутри дискурса, за пределами которого ничего человеческого не существует. Это значит, что все потуги описать мир — речь, письмо, живопись, фотография, скульптура и т.п. — всего лишь симуляции. Нам никогда не познать реальность, скрывающуюся за явлениями. А инструменты для описания этих явлений (письмо, искусство и т.п.) зависят от языков, которыми мы пользуемся. Нам никогда не постичь (универсальный) смысл происходящего в мире, хотя смыслы распространяются повсеместно. Это метафизика? Не думаю.

Бодрийяр многое поведал нам о симуляции и о тех переменах, которые происходят в симуляции и в том, как мы её понимаем. Он опасается, что власть симуляции станут использовать глупцы, ибо глупость способна отлить наш мир в компьютерные модели. Этот тип симуляции представляется ему угрозой, и он надеется, что в будущем её удастся избежать. Соединённые Штаты — пример того, чего нам следует опасаться, — и дело не в простой диснеификации, а в том, что американские студенты даже не сознают того факта, что консюмеризм ведёт к симуляции их жизней. У них нет ни этого ощущения, ни слов, чтобы описать симуляцию; Бодрийяр полагает, что причина в том, что они живут в условиях симуляции самого развитого государства. Мне кажется, он обнаружил, что американские студенты так же неспособны говорить о симуляции, как рыба неспособна судить о воде.

Он понимал, что есть такая штука, как «аутентичная симуляция», вроде суповых банок Уорхола, являющаяся противоположностью неаутентичной симуляции 1980-х гг. Его беспокоила разновидность симуляции, основанная на прецессии модели. Бодрийяр

называл это экстазом реальности — информации, более истинной, чем истина. Когда же симуляцию (например, письмо или искусство) использовали для того, чтобы бросить вызов миру, его чудовищности, он это приветствовал. Но если симуляция сводилась к зеркалу «реальности», Бодрийяр говорил, что это просто банальность. Он был хранителем иллюзии, тогда как компьютерное моделирование стремится лишь к операциональному, функциональному, статистическому. Вспомните о великолепии всех языков мира, а потом представьте себе, что все они редуцированы к бинарному коду. Разве не это предписывает глобализм?

Бодрийяр не считал проблемой симуляцию творческую, художественную, ищущую поэтические решения. Но сегодня симуляция по большей части преследует иные цели — умерщвление иллюзии (жизненного) мира. Симуляторы, говорил он, стремятся к тому, чтобы реальность совпадала с моделями её симуляции. Симуляция, какой её практикуют сегодня, ставит знаки реальности (о которой мы никогда ничего не знаем) на место реальности. Или, лучше сказать, симуляция стремится заменить иллюзию мира чем-то более реальным, нежели реальность, — гиперреальностью. Для чего сегодня служит знак, как не для того, чтобы заставить «реальность» исчезнуть, скрыв факт её исчезновения?

Разве не любопытно, что симуляция сегодня работает по принципу, который можно назвать метафизикой реальности? Но, если мы понимаем, что всякое письмо и мысль — это уже симуляция явлений (за которыми скрывается реальность), мы оказываемся нечувствительны к большей части сегодняшней компьютерной симуляции. Если хотите, назовите меня постмодерным крестьянином, но я предпочитаю быть тем, кто я есть, в отличие от тех студентов, которых Бодрийяр встречал в Калифорнии. Я не верю в глобализацию. Подобно Бодрийяру, я понимаю, что это всего лишь симуляция — симуляция западного универсализма и интегризма.

Когда мы начинаем мыслить громоздкими и сложными терминами, вроде образности или симуляции, или размышлять о том, что движет нашей системой и позволяет ей преуспевать, вполне логично, что на ум приходит такое определение, как метафизика. Но мы живём в мире, где логика — не самый действенный инструмент. Я надеюсь, что мы избавились от заблуждения, тяготевшего над нами два с половиной тысячелетия. Мы больше не верим в спасительность диалектики. Мы живём в мире, где могут сосуществовать два абсолютно верных и абсолютно противоположных суждения. В Бодрийяре, как и во мне, есть что-то от метафизики, но гораздо больше — от антиметафизики. Но мир от этого не становится более «бодрийярианским».

Какую роль в этом обращении метафизики играет стиль письма Бодрийяра? Конечно, французские философы со времён Декарта исповедуют литературный стиль. Но Бодрийяр особенно поражает своей «антинаучностью». Поэтому многие говорят, что он не философ, а эссеист. Насколько я понимаю, этот стиль родился не случайно.

Конечно, его стиль неслучаен — Бодрийяр начал писать, когда ему было около сорока (до 1968-го его никто не знал). Он был мастером языка, хорошо читавшим по-английски, а немецкий знавшим на уровне переводчика (каковым он и был в годы юности, когда преподавал в лицее).

Что касается науки, вы очень точно уловили тот нерв, который делает Бодрийяра столь значимым для настоящего момента. Я думаю, именно поэтому он вызывает такой

интерес у многих аспирантов и молодых учёных. Я бы поставил Бодрийера в один ряд с мыслителями, которые понимали, что ценность «научной» мысли обретается в её поэтическом измерении — измерении квантовой теории и принципа неопределённости Гейзенберга. Давайте обозначим её как большое «Н» — Наука. Другой научный подход, обычно применяемый в общественных науках (их большую популярность и меньшую значимость мы обозначим как маленькое «н»), является противоположностью поэтики. Он является противоположностью фавулы, истории, притчи, прекрасных мгновений поэтического обращения. Он занимается эмпирическим поиском универсальных ответов, пользуясь эмпирическими методами и инструментами (эксперимент, опрос, обсчёт полученных данных, коэффициент корреляции Пирсона и т.п.). Эти (социальные) науки мечтают о временах, когда всё станет предсказуемым и размеченным в компьютерных моделях. Те, кто следует этому подходу, называют его научным, но это неинтересная наука. Всё лучшее, что было в науке, говорит нам о недостижимости вселенной. Оно пропитано искусством и поэтикой. Эмпирический характер социальных наук достигается за счёт разрушения искусства наукой. Даже в естественных науках утвердилась своего рода технократия: генетика — самый опасный враг, которого они когда-либо знали. Есть люди, которые желали бы превратить все языки в бинарный язык компьютера. Человеческие языки со всем их многообразием и совершенной несовместимостью поэтичны, тогда как компьютерные языки — это язык техно-науки, впавшей в экстаз. Ирония судьбы в том, что эти техно-науки вполне могут привести к крушению существующей системы, и если это произойдёт, то произойдёт, конечно же, на языке компьютера.

Наука с большой буквы прекрасно понимает, что у неё нет никакого контакта с реальностью и, уж конечно, никакого контроля над ней. За нашу доверчивость к научной мысли приходится платить непомерно высокую цену. Понятие научной объективности в общественных науках делает невозможной Науку как поэтику, порождая систему напыщенного невежества, варящуюся в соку собственных «правил». Однако человеческой мысли нужны открытые горизонты. Общественные науки продуцируют мета-язык, тогда как не-технократическая Наука позволяет нам соприкоснуться с поистине нереальным миром. Для Бодрийера наука была связана не с верой или знанием, но, скорее, с поэтическим, загадочным, недостижимым. Наука с большой буквы обращается к абсолютной недостижимости вещей, тогда как наука с маленькой буквы возится со своими моделями и картами и имеет дело с (куда менее интересными) эмпирическими вопросами. Как заметил Бодрийер, революция нашего времени — это революция неуверенности. Именно поэтому он столь значим сегодня. Традиционно мыслители сталкивались с двумя непреодолимыми трудностями — необходимостью быть гуманистом и (или) необходимостью быть эмпириком. Бодрийер научил нас тому, что и то, и другое мешает радикальной мысли и письму.

Бодрийер понимал, что мысль может вдохновляться фотографией, произведением искусства, фильмом, поэмой, романом или басней. Лучшей теорией (не отчётливой, но, скорее, загадочной), на его взгляд, могла оказаться басня. В конце концов, всякая теория, независимо от того, на чём она основана, это выдумка. Так же как всякая «Истина» — это истина лишь до тех пор, пока её не опровергнут, все теории на поверку оказываются выдумками. Два источника этой бодрийеровской мысли — Ницше и Наука с большой буквы. Всё, что мы знаем, — это история вписанная в старый дискурс. Задача

теории в том, чтобы придумать по возможности самую интересную историю. Эмпирические истории, как правило, неинтересны.

Что до тех, кто утверждает, будто Бодрийяр не философ, — они действуют как своего рода полицейские от философии. Все великие мыслители понимали, что у мысли не может быть полиции. Если же к философам применять критерий «научности», многих известных мыслителей придётся выкинуть из этого разряда.

Бодрийяр намеренно бросал вызов мелким мыслителям, которым не нравился его стиль. Для него было большим удовольствием наблюдать, как эти критики заражаются его негативностью. Вспомните диатрибы Сокала, с которыми мы могли познакомиться несколько лет назад. Бодрийяр весьма потешался над этим размахиванием знаменем науки в самых банальных её проявлениях. Так называемая аналитическая школа (британская) — ещё один пример убеждённости в собственной правоте — настаивала на своей большей «ясности» и «объективности» в сравнении с другими традициями. С (поэтической) точки зрения Бодрийяра, эти её «ясность» и «объективность» — всего лишь предубеждения.

Конечно, на стиль Бодрийяра повлияли эссеисты и драматурги, романисты и поэты. В духе Науки с большой буквы он не интересовался эмпирическими решениями — отливкой мира в карты, диаграммы, модели и инструментарий, — его занимали поэтические решения. Поэтому сегодня, когда люди вроде меня обнаруживают, что общественная мысль в последние годы извлекла больше пользы из искусства, нежели из эмпиризма, Бодрийяр оказывается в центре интеллектуальной деятельности,

Мне всё ещё порой приходится доказывать, что Бодрийяр ценен не только для эссеистики, но и для онтологии.

Онтология абстрактна в том отношении, что имеет дело с сущностями. Она стремится уловить бытие как абстракцию. Бодрийяр выступает против онтологии, когда различает банальную абстрактность (попытка сделать измеримым всё) и радикальную абстракцию (более поэтическую и деконструктивную). Конечно, Бодрийяр ценен для онтологии, только нужно различать два вида науки, о которых я уже говорил.

В то время как онтология обращается к «Бытию», Бодрийяру куда интереснее «Становление» — гераклитово становление (где ключевым является антагонизм, но не в диалектическом смысле). Онтологизация существования не слишком занимала такого агностика, как Бодрийяр. Когда-то он сказал, что человеческий род обязан своим становлением тому факту, что не несёт в себе никакой конечности. Бытие повсюду, а «становление» — это редкость. Бодрийяр остро чувствовал неразрешимую двойственность бытия и существования. Но, так или иначе, существование не было для него важной проблемой. В этом отношении он также близок наиболее поэтическим формам Науки.

Я благодарю Вас за интереснейшую беседу. Уверен, что мы ещё вернёмся к её темам.

Беседу провёл А.В. Дьяков